

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/23062061/23/1

Д.В. Долгушин

УЧЕБНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В «ПРИДВОРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ» М.Н. МУРАВЬЕВА И В.А. ЖУКОВСКОГО. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ¹

Аннотация. В статье ставится проблема преемственности между учебными периодическим изданиями В.А. Жуковского («Собиратель», «Муравейник») и М.Н. Муравьева («Обитатель предместия» и связанные с ним «Эмилиевы письма» и «Берновские письма»). Анализируются особенности поэтики трилогии Муравьева. Делаются выводы о наличии в тексте трилогии кружковой семантики (проявившейся, прежде всего, в соотносённости образа Васиньки с личностью вел. кн. Константина Павловича), энциклопедической установки на отображение многообразия универсума (социального, эстетического и природного), преобладании идиллической поэтики, связанной с ослаблением сюжетности, выдвиганием на первый план деревенского топоса, склонностью к визуальной эстетике; об опоре Муравьева на аксиологию «религии сердца» с акцентированными в ней темами добродетели и премудрого устройства природы. Все эти черты свойственны и для педагогических журналов Жуковского, в которых традиции педагогической прозы Муравьева получают дальнейшее развитие.

Ключевые слова: придворная педагогика, сентиментализм, идиллия, цикл прозы, М.Н. Муравьев, В.А. Жуковский, великий князь Константин Павлович, Александр I, Александр II.

В 1829–1831 гг. В.А. Жуковский, исполняя обязанности наставника наследника престола великого князя Александра Николаевича, предпринял издание двух педагогических «полужурналов-полуальманахов» [1. С. 166] «Собиратель» (1829) и «Муравейник» (1831) [2. С. 218–321]. Термин «педагогические» в данном случае

¹ Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-012-00529.

означает не то, что они были адресованы педагогам, а то, что их издание, по замыслу поэта, должно было стать органической частью процесса обучения наследника престола.

Замысел этот осуществился лишь отчасти. Издание «Собирателя» прервалось на втором номере (вероятно, из-за ухудшения отношений Жуковского с царем), «Муравейник» остановился на пятом. Оба журнала печатались «нарочито малым тиражом» («Собиратель» – не более 10–15, а «Муравейник» – не более 40 экземпляров). Предназначались они для очень узкого, преимущественно придворного и детского круга читателей и уже с самого момента своего выхода в свет стали «книжной редкостью» [3. Стлб. 299]. Неудивительно, что долгое время интерес к ним был чисто библиографическим и библиофильским. Но в последнее время ситуация изменилась: вышел целый ряд работ, в которых «Собиратель» и «Муравейник» исследуются с историко-литературной стороны – как неслучайный в литературном процессе 1830-х гг. опыт циклизации поэзии и прозы [4, 5] как важная веха на так и не пройденном до конца Жуковским пути от русской идиллии к русской повести [6].

Задача настоящей статьи – рассмотреть «Собиратель» и «Муравейник» в контексте традиций придворной педагогики конца XVIII – начала XIX в. Связь издательских опытов Жуковского с этим контекстом достаточно очевидна¹ и уже обращала на себя внимание исследователей. Так, А.С. Янушкевич справедливо указал на то, что непосредственным образцом для «Собирателя», скорее всего, послужил сборник И.-Я. Энгеля «Зеркало для князей» («Fürstenspiegel»), состоящий из 35 наставлений «по различным вопросам моральной философии и политики» [7. С. 485], адресованных Энгелем его воспитаннику – будущему прусскому королю Фридриху-Вильгельму III.

Обращение к наследию Энгеля для Жуковского было вполне естественным: поэт увлекался его творчеством. Еще редактируя «Вестник

¹ Тем не менее этот контекст не является единственным. Отдельной темой могло бы стать изучение педагогических изданий Жуковского в контексте истории детской и школьной прессы России второй половины XVIII – начала XIX в. (к сравнению с «Собирателем» и «Муравейником» тогда следовало бы привлечь к исследованию «Детское чтение для сердца и разума», а также рукописные и печатные журналы Сухопутного шляхетского корпуса, Московского благородного пансиона, Царскосельского лицея, Нежинской гимназии высших наук и т.д.).

Европы», он поместил туда ряд выдержек из книги Энгеля «Светский философ» [7. С. 484]. «Собиратель», судя по всему, также должен был регулярно пополняться переводами из этого немецкого автора. Фридрих-Вильгельм III доводился родным дедушкой русскому наследнику престола, и использование текстов Энгеля хорошо вписывалось в династические предания царского семейства.

Однако кроме этого прусского прототипа для «Собирателя» и «Муравейника» можно выявить и русские образцы. Их надо искать в педагогической прозе М.Н. Муравьева, на протяжении многих лет преподававшего русскую словесность, русскую историю и нравственную философию великим князьям Александру и Константину Павловичам. Исполняя эту обязанность, Муравьев написал множество прозаических произведений художественно-дидактического характера, которые печатались в Императорской типографии И.Я. Вейтбрехта небольшими тиражами на средства Кабинета Ее Императорского Величества. Таким образом были изданы драматическая сказка «Доброе дитя» (1789), «Опыты истории, письмен и нравоучения» (1796), «Эпохи российской истории» (б.г.), «Историческое изображение России в седьмом-надесять веке» (б.г.), «Нравственные изображения» (1790), «Разговоры мертвых» (1790), «Эмилиевы письма» (б.г.) и т.д. В составленном Г.А. Фафуриным перечне книг, вышедших из типографии Вейтбрехта, учтено 19 изданий М.Н. Муравьева такого рода [8. С. 324, 325, 344]. Этот список не исчерпывающий, так как некоторые из книг, изданных Муравьевым, по-видимому, не сохранились, но и учтенный репертуар впечатляет своим объемом и разнообразием – так что вполне можно согласиться с Л. Росси: «почти вся зрелая проза» М.Н. Муравьева «связана с его педагогической деятельностью» [9. С. 114].

Из всех этих изданий для нашей темы особенно важно одно – «Обитатель предместия, периодические листы» (1790): оно выходило еженедельно (всего увидело свет 10 выпусков – «листов») и в этом смысле представляет собой ближайший аналог придворным педагогическим журналам Жуковского. «Обитатель предместия», как известно, является частью прозаического цикла – трилогии, в которую кроме него входят «Берновские письма» и «Эмилиевы письма», также использовавшиеся Муравьевым в педагогической практике.

Изучению «ансамблевых», «метатекстуальных» принципов, положенных в основу этого цикла, посвящено исследование В.С. Киселева

[10. С. 53–73], который считает, что трилогия Муравьева строилась по образцу «дневникового нарратива», в котором «разнообразие тем, жанров и повествовательных форм приводится к единству общностью кругозора и личностных особенностей субъекта» [11. С. 13]. Действительно, легко обнаружить, что «полнос единства» трилогии задается сентименталистской аксиологией, репрезентированный персонологически – через образ чувствительной и добродетельной личности. Но есть в трилогии и противоположный ему «полнос многообразия», заданный прагматикой коммуникативной ситуации, в которой оказался Муравьев при дворе.

Для описания ее будет уместно вслед за В.С. Киселевым обратиться к историко-литературной социологической схеме, предложенной У.М. Тоддом III, утверждавшим, что на рубеже XVIII–XIX вв. в России происходила смена моделей литературной коммуникации: на смену «покровительству», характерному для XVIII в., приходила модель «дружеского сообщества», характерная для первой четверти XIX в. (см.: [12. С. 62–86]). В этом отношении трилогия Муравьева, да и все его придворное творчество – явление переходное.

С одной стороны, оно осуществлялось в ситуации «покровительства». Создавая педагогическую прозу, Муравьев выступал в социальной роли придворного служителя, выполняющего заказ своего патрона или, вернее, патронессы – Екатерины Второй. Параметры этого заказа были хорошо известны (и даже сформулированы заказчицей в специальном «Наставлении о воспитании великих князей Александра и Константина»), отчетность по ним строго определена. Нормативность и подвластность – это характерные черты ситуации «покровительства».

С другой стороны, следуя установке Екатерины, настаивавшей на почти полном отказе педагогов от наказаний, стремясь выполнять свои педагогические функции максимально эффективно и гуманно, Муравьев сделал ставку на неформальные способы мотивации учеников. Фактически он попытался создать с ними нечто вроде дружеского сообщества, небольшого кружка, в котором, при сохранении известной дистанции между наставником и воспитанниками, должна была реализоваться сентименталистская модель взаимообщения душ.

Его проза была призвана способствовать формированию этого группового пространства и потому насыщалась кружковой семанти-

кой, незаметной для постороннего глаза, но легко «считываемой» участниками кружка. Так, вероятно, неслучайно действие «Обитателя предместья» начинается в Софии – городе, основанном Екатериной неподалеку от столь знакомых ученикам Муравьева Екатерининского дворца и парка. Неслучайны «военные» страницы трилогии с их описаниями учений и смотров, бывших частью придворного быта великих князей, особенно загородного. Неслучайны и некоторые дидактические отсылки, в которых угадывается педагогическая мука Муравьева: он, как и другие учителя, едва справлялся с великим князем Константином Павловичем, отличавшимся крайне капризным, своенравным характером.

Вообще, кажется, Константин был основным адресатом дидактических усилий Муравьева – не только потому, что его благонравный брат не создавал проблем своим учителям, но и потому, что Муравьев входил в придворный штат не Александра, а именно Константина и числился его кавалером. Поэтому вряд ли случайно, что главный детский герой трилогии, воспитанник Эмилия Васинька, является ровесником Константина, ему одиннадцать лет, столько же, сколько исполнилось Константину Павловичу в год выхода «Эмилиевых писем» (1790) [13. С. 147].

Само имя этого персонажа, Василий, Васинька, указывает на Константина. Оно происходит от βασιλεύς («царь») – греческого слова, входившего в титулатуру византийских императоров. Как известно, Константин Павлович был назван своей бабушкой в честь первого из них – Константина Великого. Увлеченная «греческим проектом» Екатерина прочила своему второму внуку престол возрожденного «Греческого царства», велела учить его греческому языку, подобрала ему греческих слуг, в результате чего «великий князь вырастал на руках греков и окруженный ими» [14. С. 9]. Соотнесенность с греческими «василевсами» преследовала Константина всю жизнь, с самой колыбели, и имя Васинька легко расшифровывалось этим семантическим кодом.

В данном имени скрывалась и еще одна, дидактическая, аллюзия. Царь – не только тот, кто властвует над другими, царь – это тот, кто властвует над собой. С этим у необузданного нравом Константина были большие проблемы. С раннего детства он страдал гиперактивностью, ни на чем не мог долго сосредоточиться. «Ни одной минуты покойной, всегда в движении; не замечая, куда идет и где ставит ногу,

он непременно выпрыгнул бы из окошка, если бы за ним не следили», – жаловался на него Ф.-С. Лагарп (цит по: [15. С. 38]).

Педагоги не могли и не хотели найти со взбалмошным ребенком общего языка, внимание их было сосредоточено на его старшем брате, и маленький Константин, все время чувствовавший себя на вторых ролях, пошел вразнос. Он своевольничал, отказывался подчиняться учителям и выполнять их задания, кричал, плакал, бросался книгами и письменными принадлежностями, впадал в дикие припадки необузданного гнева. Однажды, в сентябре 1789 г. дело дошло до того, что он в ярости укусил Лагарпа за руку. Может быть, неслучайно именно к этому времени, к 1789 г., когда проблемы с воспитанием Константина стали совершенно очевидны, относится создание «Эмилиевых писем». Возможно, Муравьев надеялся с помощью них воздействовать на своего подопечного.

Если это так, то он показал себя гораздо более терпеливым педагогом, чем Лагарп, в конце концов дошедший до того, что в лицо называл Константина «господином ослом» и заставлял под диктовку писать самоуничижительные записки такого, например, содержания: «В 12 лет я ничего не знаю, не умею даже читать. Быть грубым, невежливым, дерзким – вот к чему я стремлюсь. Знание мое и прилежание достойны армейского барабанщика. Словом, из меня ничего не выйдет за всю мою жизнь» (цит. по: [15. С. 42]).

Муравьев избрал принципиально другую, более мудрую педагогическую стратегию. Он не ругает и не унижает своего ученика, напротив, старается поднять его самооценку. В образе Васиньки из «Эмилиевых писем» Муравьев предлагает Константину улучшенную версию его самого. Васинька обладает теми же достоинствами, что и Константин, но успешно борется с его недостатками. Так же, как Константин, он щедр, «смел и великодушен от природы», но к тому же еще и «отвращается от постыдного» настолько, что «не в состоянии сделать ничего предосудительного, хотя бы и уверен был, что никто того не узнает» [13. С. 117–118].

Как и Константин, Васинька больше всего на свете любит военные учения, однако находит в себе силы воздержаться от любимого развлечения ради упражнения воли, выдержки и самоконтроля: он добровольно отказывается от поездки в военный лагерь, попросившись «остаться дома, нарочно для того, чтоб испытать, может ли отказать себе

в удовольствии» [13. С. 116]. В другой раз Васинька проявляет умение властвовать над собой, отказавшись от любимого лакомства – персика, «прекрасного, единственного», на котором он «основывал надежду своего завтрака» [Там же. С. 118], отдав персик нищему старику.

Все это – положительные примеры царственной способности владеть собой и править своими чувствами. Они адресовались именно «басилевсу» Константину, которому такой способности явно не хватало. Подобного же рода пример находим и в «Обитателе предместия».

Здесь рассказывается о капитан-командоре Неслетове, вся жизнь которого была разрушена его гневливостью и горячностью. Однажды он оскорбил свою жену, сделав ей при всех в большом обществе «несправедливую укоризну». Чувствительная женщина не пережила такого унижения и, несмотря на раскаяние мужа, от огорчения заболела и скончалась. «С тех пор и капитан более мучается, нежели живет» [Там же. С. 77]. «Имея лучшее сердце в свете, он всегда в опасности огорчить друзей и ближних, затем что не имеет власти противиться первым движениям» [Там же. С. 77–78]. Из-за несдержанности Неслетова разрушилась и его служебная карьера:

...обидел он вспыльчивостию лейтенанта корабля своего; но опаматствовавшись через минуту, при собрании всего экипажа просил у него прощения. Сей поступок произвел разные толки, и нетерпеливый Неслетов захотел лучше отказаться от блестящих видов службы, нежели снести взор неудовольствия своих начальников [Там же. С. 78].

В судьбе несчастного Неслетова как будто пророчески воплотились будущие обстоятельства жизненного пути так и не научившегося управлять собой Константина: жена, великая княгиня Анна Федоровна (тоже, кстати, ученица Муравьева), измученная выходками своего мужа и в конце концов бежавшая от него; оскорбления подчиненных, допущенные в гневе, за которые потом приходилось прилюдно просить у них прощения (самый известный эпизод – инцидент с поручиком Кошкулем, описанный в мемуарах А.Е. Розена [16. С. 90]).

Но вернемся к разговору об особенностях циклизации трилогии. Наличие персонажей, непосредственно (и при этом неочевидно для постороннего читателя) соотносенных с одним из участников кружка, свидетельствует о том, сколь важен был для ее восприятия кружко-

вый контекст. Однако дидактика трилогии в целом далеко не столь узко адресна и прямолинейна, чтобы замыкаться границами кружка и ограничиваться непосредственными нуждами учебного процесса.

Напротив, она тяготеет к максимальной универсальности, размыкает кружок в круг, вводя учеников-читателей хоть и не в научно-дисциплинарную *ἐγκύκλιος παιδεία*, но в своего рода энциклопедию универсума. Этот универсум «густозаселен», в нем «представлены все сословия», по справедливому наблюдению И.Н. Островских, это «микрокосм», в котором отражается «макрокосм» государства [17. С. 219]. Место в нем находят и природа, и произведения искусства. Нет места лишь для городской цивилизации. Многообразие мира в «эмилиевом цикле» приведено к общему знаменателю деревенской идиллии. Недаром комната Эмилия украшена бюстами Руссо¹ и Геснера [13. С. 121], а любимыми авторами Эмилия являются Гораций и Вергилий.

Образ «естественного» человека, живущего на лоне природы, становится в мире трилогии непреложным аксиологическим образцом, проступающим сквозь любые сословные очертания. Отсюда настойчиво звучащая у Муравьева сентименталистская «тема всесословного равенства» [19. С. 48] («мы позабыли различие состояний и помнили только, что мы люди» [13. С. 120]), отсюда постоянная апология земледелия. Эмилий пишет:

Мы дали слово, я и Васинька, в первую прогулку идти на ниву доброго земледельца, быть свидетелями трудов его, неутомимости, добродушия. Мы возьмем с собою Вергилиевы Георгики, и в виду хижин и пастухов, при шуме падающего источника, прочтем прелестный эпизод второй книги о похвалах сельской жизни [13. С. 123–124].

Исчезает разница между человеком пашущим и человеком прогуливающимся. Исчезают кровь и пот физического труда. Исчезает и беззаботность фланера. И то и другое занятие срастворяются в едином целом патриархальной утопии.

¹ Отсылкой к Руссо, как указывает В.Н. Топоров, является, конечно, и само имя Эмилия – тезки главного героя педагогического романа Руссо «Эмиль, или О воспитании» [18. С. 407–412].

Нужно сказать, что Муравьеву удалось всерьез увлечь идиллическим идеалом по крайней мере одного из своих воспитанников – Александра, для которого идиллии Геснера сделались любимым чтением. Александр знал их наизусть, а возвращаясь в 1815 г. в Россию, специально заехал поклониться могиле швейцарского поэта. Уже будучи победителем Наполеона и «Агамемноном Европы», Александр сохранял юношескую преданность идиллическому идеалу. По словам В.К. Надлера,

...среди неслыханного блеска своих побед, на высоте своей славы, он мечтал о тихой безмятежной жизни поселянина, о его идиллическом счастье. <...> В Богемии, в годовщину Лейпцигского боя, он собственноручно пахал поле и вызвал тем взрыв умиления и восторга у присутствовавших лиц. Красивый деревенский вид, простая обстановка крестьянского жилища приводили его всегда в умиление, способны были вызвать у него восторженные восклицания и слезы [20. С. 15].

Для того чтобы идиллический идеал вошел в систему жизненных установок великих князей, необходимо было найти его *modus vivendi* с военным идеалом – столь важным для Павловичей и по их наследственной склонности (особенно заметной у Константина), и по их государственным обязанностям, и, наконец, по их мальчишескому возрасту. Сознвая эту необходимость, Муравьев первые страницы своей трилогии отдал военной теме, но при этом интегрировал ее в деревенскую.

На этих страницах Эмилий восторженно и увлеченно описывает военный лагерь, раскинувшийся неподалеку от поместья, одобрительно упоминает увлечение Васиньки фортификацией, перечисляет книги по военному искусству. Апофеозом военной темы становится описание военных учений. Акцент в нем делается на согласном, слаженном движении войск: «С каким согласиём действовали все отряды! – восклицает Эмилий. – Конница тяжелая, легкая; пехота, охотники, наконец все разные орудия соединены в одно тело, движущееся и страшное!» [13. С. 122–123].

Этот фрагмент напоминает сделанное чуть раньше описание сельского праздника, в котором также подчеркивались лад и стройный порядок («порядочный строй»):

Жители целой деревни, отстоящей от села на полтретья версты, старый и малый, приходили порядочным строем на двор господский. Все были в лучшем праздничном убранстве. Юноши и отроки по два в ряд подносили помещице венки, сплетенные из васильков [13. С. 120].

И строй воинов, и строй крестьян в идиллии являются воплощением той прекрасной и неизменной устроенности мироздания, которая этимологически подразумевается словом «космос» (от κοσμήω – выстраиваю, упорядочиваю, украшаю).

Космос «эмилиевой трилогии» – это единое идиллическое целое, которое включает в себя все: и жизнь, и смерть, и войну, и мир, и землепашество, и бал, и театр, и литературу, и службу, и частную жизнь, и любовь, и дружество, и богатство, и бедность, и крестьян, и помещиков, и детей, и взрослых, и юношей, и стариков. Но именно поэтому здесь ничего не происходит (а если что-то и происходило, то осталось в прошлом: например, истории Неслетова, Дремова, Былинского, Василькова, все эти разрешившиеся и уже «остывшие» драмы). Идиллия бессобытийна. В ней все слишком однородно, а потому бесконфликтно: «...все персонажи – люди достойные, добрые, порядочные, и никаких конфликтов между ними быть не может. Круг занятий их привычен, обыден, довольно однообразен, жизнь тоже довольно безмятежна» [18. С. 422]. Трагедия где-то есть, но только вовне. Она не может ворваться внутрь идиллического пространства даже через смерть Эмилия, которая лишена трагизма – во-первых, потому что возвышенна, а во-вторых, потому что не неожиданна – мы знаем о ней с самого начала повествования.

Сюжетность наррации тем самым оказывается существенно ослаблена (см.: [Там же. С. 424]). Динамика отступает перед статикой, столь необходимой для идилличности. И вот уже перед нами не цепь событий, а ряд картинок (ведь слово «идиллия» и происходит от гр. εἰδύλλιον, что значит «картинка»), сменяющих друг друга, как иллюстрации в детской книжке. Именно это обеспечивает не только дидактическую «наглядность», но и потенциальную «медальность» текста, наделяет его способностью распределиться на выпуски и интегрироваться в жизнь, сливаясь с ее хронологически-бытовым течением (недаром Муравьев использует автодокументальные жанры писем и дневника).

«Идиллические картинки» «эмилиева цикла» собраны воедино глубинным, аксиоматическим уровнем текста. Наиболее отчетливо он

артикулирован в беседе Обитателя предместия с Илановым, которую вполне обоснованно можно считать «композиционным центром цикла» [10. С. 60]. Функционально она играет ту же роль, что и исповедь савойского викария в «Эмиле» Руссо. Это обширное религиозно-философское рассуждение, в котором этика сопрягается с метафизикой и космологией. Бескрайние пространства мироздания, «усеянные солнцами, которые другим мирам светят», «огромные тела небесные», «колеблющиеся на зыбях эфира», былинка, «которая завянет завтра» [13. С. 81] – все являет мудрость Высшего Существа, перед которым необходимо «поставлять себя всечасно» [Там же. С. 80], сохраняя нравственную чистоту души и восторгаясь красотой природы.

Подводя итог разговору о трилогии Муравьева, выделим ее характерные черты. Во-первых, это тяготение к групповой, кружковой семантике, имеющее дидактическое значение. Во-вторых, это энциклопедическая установка на отображение многообразия универсума (социального, эстетического и природного). В-третьих, это господство идиллической поэтики, связанное с ослаблением сюжетности, выдвиганием на первый план деревенского топоса, склонностью к визуальной эстетике. В-четвертых, это опора на аксиологию «религии сердца» с акцентированными в ней темами добродетели и премудрого устройства природы.

Творчество Муравьева было хорошо известно Жуковскому и по личным связям (Муравьев был близким другом И.П. Тургенева, в доме которого Жуковский постоянно бывал и с сыновьями которого близко дружил), и по издательской деятельности: Жуковский неоднократно публиковал тексты Муравьева в «Вестнике Европы», вместе с К.Н. Батюшковым он редактировал Полное собрание сочинений Муравьева (1819–1820) (см.: [21–23]).

Жуковский не мог не соотносить свою педагогическую судьбу с судьбой Муравьева. Как и Муравьев, он был учителем русского языка у немецких принцесс, выданных замуж за русских великих князей; как и Муравьев, он был наставником наследника престола. По справедливому замечанию Л.Н. Киселевой, «связь педагогики Жуковского с педагогикой Муравьева нуждается в самом пристальном изучении» [24]¹. Несомненно, такая связь существовала и между придворно-педагогическими издательскими проектами этих писателей.

¹ См. некоторые предварительные наблюдения об этой связи: [25].

Кажется, намек на нее можно обнаружить даже в названиях журналов Жуковского. Если название первого из них – «Собиратель» – нейтрально в этом отношении (хотя и отражает ту муравьевскую установку на универсальность, о которой шла речь выше), то название второго – «Муравейник» – созвучно с фамилией Муравьева, и, возможно, это созвучие неслучайно.

Конечно, напрямую заглавие «Муравейника» восходит к девизу, придуманному великим князем Александром Николаевичем для подаренного ему Николаем I Детского острова в Царскосельском парке [26] (этому острову, кстати, посвящено стихотворение Жуковского, опубликованное в пятом номере «Муравейника» [2. С. 317–318]). Летом 1830 г. там заканчивались работы по строительству и отделке Детского домика, и К.К. Мердер предложил Александру Николаевичу придумать девиз для флага, который тот хотел там поднять. Великий князь согласился и вскоре принес Мердеру рисунок, на котором «представил водою промытую скалу, муравья и якорь, написав вокруг: *постоянство, деятельность, надежда*» [27. С. 49].

С другой стороны, Жуковский, придумывая название, мог иметь в виду и муравьевский подтекст. Муравьев, очень ценивший родственные узы, устраивал по воскресеньям семейные обеды. «Случалось, что за стол садилось человек по семьдесят. Тут были и военные генералы, и сенаторы, и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и скромные провинциалы, и все это были родственники, близкие и дальние» (цит. по: [28. С. 146]). Эту многочисленную родню Муравьев «ласково именовал “муравейником”» [29. С. 34].

Идеал семьи принципиально важен в асксологии Муравьева, считавшего, что «люди должны стремиться быть всеобщей Семейей “добродетельных сердец”» [30. С. 15], важен он и для формирования идиллического пространства. Возможно, используя название «Муравейник», Жуковский имел в виду именно этот идеал и артикуляцию его Муравьевым – тем более, что большая часть юных сотрудников его журнала доводились друг другу родными братьями и сестрами.

Как бы ни трактовалось название «Муравейник», содержание педагогических журналов Жуковского показывает, что те особенные черты «эмилиевой трилогии», которые были перечислены выше, получили в них дальнейшее продолжение и развитие. Развернутому анализу этой преемственности и будет посвящена следующая статья.

Литература

1. Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М. : Книга, 1977. 448 с.
2. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Т. 11 (первый полутом): Проза 1810–1840-х годов / ред. А.С. Янушкевич. М. : Издательский Дом ЯСК, 2016. 1048 с.
3. П.<стр> Б.<артенев>. Книжная редкость // Русский архив 1867. Кн. 1. Стлб. 299–304.
4. Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 406 с.
5. Ребеккини Д. Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности В.А. Жуковского (о сборнике «муравейник» 1831 года) // Русская литература 2016. № 3. С. 20–27.
6. Янушкевич А.С. Путь В.А. Жуковского от русской идилии к русской повести: деревенский топос // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2013. № 1 (21). С. 105–124.
7. Янушкевич А.С. Круг чтения В.А. Жуковского 1820–30-х годов как отражение его общественной позиции // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1878. Ч. 1. С. 466–521.
8. Фафурин Г.А. К истории академической книжной торговли в России в эпоху Екатерины II: деятельность Иоганна Вейтбрехта в Санкт-Петербурге. СПб. : Петербургское лингвистическое общество, 2010. 376 с.
9. Росси Л. Сентиментальная проза М.Н. Муравьева // XVIII век. Сборник 19 / отв. ред. Н.Д. Кочеткова. СПб. : Наука, 1995. С. 114–146.
10. Киселев В.С. Метатекстуальные повествовательные структуры в русской прозе XVIII – первой трети XIX веков : дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2006. 408 с.
11. Киселев В.С. Метатекстуальные повествовательные структуры в русской прозе XVIII – первой трети XIX веков : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2006. 48 с.
12. Тодд III У.М. Литература и общество в эпоху Пушкина / пер. с англ. А.Ю. Миролубовой. СПб. : Академический проект, 1996. 306 с.
13. Сочинения Муравьева. СПб., 1847. Т. 1. 445 с.
14. Карнович Е.П. Цесаревич Константин Павлович. СПб., 1899. 323 с.
15. Кучерская М. Константин Павлович. М. : Молодая гвардия, 2005. 325 с.
16. Розен А.Е. Записки декабриста / изд. подг. Г.А. Невелевым. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984. 480 с.
17. Островских И.Н. Имя как элемент идиллического топоса в сентиментальной прозе М.Н. Муравьева (повесть «Обитатель предместия») // Филология и человек 2011. № 4. С. 219–225.
18. Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй пол. XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. 1. М. : Языки русской культуры, 2001. 912 с.
19. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. Элегическая школа. СПб. : Наука, 2002. 240 с.

20. Надлер В.К. Император Александр I и идея Священного союза. Рига, 1886. Т. 1. 390 с.
21. Левин В.Д. Карамзин, Батюшков, Жуковский – редакторы сочинений М.Н. Муравьева // Проблемы современной филологии : сб. ст. к семидесятилетию акад. В.В. Виноградова. М. : Наука, 1965. С. 189–190.
22. Жиялкова Э.М. В.А. Жуковский и М.Н. Муравьев // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск : ТГУ, 1978. Ч. 1. С. 72–77.
23. Космолинская Г.А. Константин Батюшков – редактор «Эмилиевых писем» М.Н. Муравьева // Рукописи. Редкие издания. Архивы. М. : Археографический центр, 1997. С. 143–151.
24. Киселева Л. Жуковский – преподаватель русского языка (начало «царской педагогики») // *Toronto Slavic Quarterly*. 2006. № 15. URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/15/zhukovsky15.shtml> (дата обращения: 10.06.2020).
25. Долгушин Д. Придворный локус и авторефлексия русской литературы к. XVIII – перв. пол. XIX в.: Михаил Муравьев, Василий Жуковский, Петр Плетнев // *Toronto Slavic Quarterly*. 2015. № 53. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/53/tsq_53_dolgushin.pdf (дата обращения: 10.06.2020).
26. Зимин И.В. Территория детства // *A maximus ad minima*. Малые формы в историческом ландшафте : сб. ст. по материалам науч.-практ. конференции ГМЗ «Петергоф». СПб. : Петергоф, 2017. С. 203–205.
27. Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. 554 с.
28. Хотеев В. «Друг отчества»: (Михаил Никитич Муравьев) // *Высшее образование в России*. 2000. С. 142–149.
29. Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М. : Современник, 1987. 351 с.
30. Пашкуров А.Н. Аксиология М.Н. Муравьева (к вопросу о духовно-нравственных ценностях в прозе писателя) // *Духовно-нравственные основы русской литературы* : сб. науч. ст. по материалам Шестой междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. Н.Г. Коптелова ; отв. ред. А.К. Котлов. Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. С. 11–16.

Educational Periodicals in the “Court Pedagogy” of Mikhail Muravyov and Vasily Zhukovsky. Article One

Tekst. Kniga. Knigoizdanie – Text. Book. Publishing, 2020, 23, pp. 5–21

DOI: 10.17223/23062061/23/1

Dmirty V. Dolgushin, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation).
E-mail: D_Dolgushin@mail.ru

Keywords: court pedagogy, sentimentalism, idyll, prose cycle, Mikhail N. Muravyov, Vasily A. Zhukovsky, Grand Duke Konstantin Pavlovich, Alexander I, Alexander II.

In 1829–1831, Vasily Zhukovsky, a mentor to the heir to the throne, published two pedagogical journals *Sobiratel'* [The Collector] (1829) and *Muraveynik* [The Ant Hill]

(1831). Zhukovsky's publishing project was greatly influenced by the traditions of court pedagogy associated with the name of Mikhail Muravyov, who taught Russian literature, Russian history and moral philosophy to Grand Dukes Alexander and Konstantin Pavlovich for many years. Muravyov wrote many prose works of an artistic and didactic nature, which were printed in a small number of copies in the Imperial printing house. One of all these publications is important: "Obitatel' Predmestya, Periodicheskiye Listy" [The Inhabitant of the Suburbs, Periodical Sheets] (1790); it was published weekly and is the closest analogue to the court pedagogical journals of Zhukovsky. The publication is part of a prose cycle—a trilogy which also includes "Bernovskie Pis'ma" [Bernovo Letters] and "Emilievyy Pis'ma" [Emil's Letters], that Muravyov used in pedagogical practice. Muravyov tried to create a kind of a friendly community with his students, a small circle in which the sentimentalist model of communication of souls was to be realised. His prose was intended to contribute to the formation of this group space and therefore was saturated with the circle semantics. The latter particularly manifested itself in the correlation of the image of the main child character of the trilogy, Vasinka, with the personality of one of Muravyov's students—Grand Duke Konstantin Pavlovich. Vasinka in "Emilievyy Pis'ma" is an improved version of Konstantin. Vasinka has the same advantages as Konstantin and successfully fights with his shortcomings. However, the message of the trilogy is not so straightforward as to be limited by the boundaries of the circle. On the contrary, it tends to maximise universality, creating a kind of an encyclopedia of the universe, which includes people, nature, and works of art. There is no room only for urban civilisation. The diversity of the world in the trilogy is brought to the common denominator of the village idyll. Therefore, the plot of Muravyov's narrative is weakened, because the idyll is essentially eventless. This is not a chain of events, but a series of images. This is what provides not only didactic "visibility", but also the potential "mediality" of the text, gives the text the ability to be distributed in issues and integrate into life, merge with its chronological and everyday flow. The idyllic pictures of "Emil's cycle" are brought together by the axiomatic level of the text. It is most clearly articulated in the conversation of the inhabitant of the suburb with Ilanov—a religious and philosophical discourse in which ethics is combined with metaphysics and cosmology. All these features of "Emil's trilogy" were further continued and developed in Zhukovsky's pedagogical journals. The following article will be devoted to a detailed analysis of this continuity.

References

1. Smirnov-Sokolskiy, N.P. (1977) *Rasskazy o knigakh* [Stories about books]. Moscow: Kniga.
2. Zhukovsky, V.A. (2016) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 tt.* [Complete Works and Letters: In 20 vols]. Vol. 11. Moscow: YaSK.
3. P.<etr> B.<artenev>. (1867) *Knizhnaya redkost'* [A Rare Book]. *Russkiy arkhiv*. 1. Col. 299–304.

4. Aizikova, I.A. (2004) *Zhanrovo-stilevaya sistema prozy V.A. Zhukovskogo* [V.A. Zhukovsky's genre-style system]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Rebecchini, D. (2016) Translation as an Educational Instrument in V.A. Zhukovsky's Work as an Instructor (on The Anthill Collection, 1831). *Russkaya literatura*. 3. pp. 20–27. (In Russian).
6. Yanushkevich, A.S. (2013) Zhukovsky's way from Russian idyll to Russian story: rural topos. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 1(21). pp. 105–124. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/21/10
7. Yanushkevich, A.S. (18) Krug chteniya V.A. Zhukovskogo 1820–30-kh godov kak otrazhenie ego obshchestvennoy pozitsii [The reading circle of V.A. Zhukovsky in the 1820–1830s as a reflection of his social position]. In: Kanunova, F.Z. (ed.) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske* [V.A. Zhukovsky's Library in Tomsk]. Pt. 1. Tomsk: Tomsk State University. pp. 466–521.
8. Fafurin, G.A. (2010) *K istorii akademicheskoy knizhnoy trgovli v Rossii v epokhu Ekateriny II: deyatel'nost' Ioganna Veytbrekhta v Sankt-Peterburge* [On the history of the academic book trade in Russia in the era of Catherine II: Johann Weitbrecht's activities in St. Petersburg]. St. Petersburg: Peterburgskoe lingvisticheskoe obshchestvo.
9. Rossi, L. (1995) Sentimental'naya proza M.N. Murav'eva [M.N. Muravyov's sentimental prose]. In: Kochetkova, N.D. (ed.) *XVIII vek. Sbornik 19* [The 18th century. Collection 19]. St. Petersburg: Nauka. pp. 114–146.
10. Kiselev, V.S. (2006) *Metatekstual'nye povestvovatel'nye struktury v russkoy proze XVIII – pervoy trety XIX vekov* [Metatextual narrative structures in Russian prose of the 18th – first third of the 19th centuries]. Philology Dr. Diss. Tomsk.
11. Kiselev, V.S. (2006) *Metatekstual'nye povestvovatel'nye struktury v russkoy proze XVIII – pervoy trety XIX vekov* [Metatextual narrative structures in Russian prose of the 18th – first third of the 19th centuries]. Abstract of Philology Dr. Diss. Tomsk.
12. Todd III, W.M. (1996) *Literatura i obshchestvo v epokhu Pushkina* [Fiction and Society in the Age of Pushkin]. Translated from English by A.Yu. Miroyubova. St. Petersburg: Akademicheskiiy proekt.
13. Muravyov, M.N. (1847) *Sochineniya* [Works]. Vol. 1. St. Petersburg: A. Smirdin.
14. Karnovich, E.P. (1899) *Tsarevich Konstantin Pavlovich* [Tsarevich Konstantin Pavlovich]. St. Petersburg: A.S. Suvorin.
15. Kucherskaya, M. (2005) *Konstantin Pavlovich* [Konstantin Pavlovich]. Moscow: Molodaya gvardiya.
16. Rozen, A.E. (1984) *Zapiski dekabristsa* [Notes of the Decembrist]. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe kn. izd-vo.
17. Ostrovskikh, I.N. (2011) Imya kak element idillicheskogo toposa v sentimental'noy proze M.N. Murav'eva (povest' "Obitatel' predmestiya") [The name as an element of the idyllic topos in the sentimental prose by M.N. Muravyov (in "The Inhabitant of the Suburb")]. *Filologiya i chelovek*. 4. pp. 219–225.
18. Toporov, V.N. (2001) *Iz istorii russkoy literatury* [From the history of Russian literature]. Vol. 2. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

19. Vatsuro, V.E. (2002) *Lirika pushkinskoy pory. Elegicheskaya shkola* [Lyrics of the Pushkin era. Elegiac School]. St. Petersburg: Nauka.
20. Nadler, V.K. (1886) *Imperator Aleksandr I i ideya Svyashchennogo soyuza* [Emperor Alexander I and the idea of the Sacred Union]. Vol. 1. Riga: Kimmel.
21. Levin, V.D. (1965) Karamzin, Batyushkov, Zhukovskiy – redaktory sochineniy M.N. Murav'eva [Karamzin, Batyushkov, Zhukovsky – editors of M.N. Muravyov's works]. In: Khrapchenko, M.B. (ed.) *Problemy sovremennoy filologii. Sbornik statey k semidesyatiletiyu akad. V.V. Vinogradova* [Problems of Modern Philology. Collection of Articles for the 70th birthday of Academician V.V. Vinogradov]. Moscow: Nauka. pp. 189–190.
22. Zhilyakova, E.M. (1978) V.A. Zhukovskiy i M.N. Muravyov [V.A. Zhukovsky and M.N. Muravyov]. In: Kanunova, F.Z. (ed.) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske* [V.A. Zhukovsky's Library in Tomsk]. Pt. 1. Tomsk: Tomsk State University. pp. 72–77.
23. Kosmolinskaya, G.A. (1997) Konstantin Batyushkov – redaktor “Emilievych pisem” M.N. Murav'eva [Konstantin Batyushkov – editor of M.N. Muravyov's “Emil's letters”]. In: Kosmolinskaya, G.A. et al. *Rukopisi. Redkie izdaniya. Arkhivy* [Manuscripts. Rare editions. Archives]. Moscow: Arkheograficheskiy tsentr. pp. 143–151.
24. Kiseleva, L. (2006) Zhukovskiy — prepodavatel' russkogo yazyka (nachalo “tsarskoy pedagogiki”) [Zhukovsky - teacher of the Russian language (the beginning of “tsarist pedagogy”)]. *Toronto Slavic Quarterly*. 15. [Online] Available from: <http://sites.utoronto.ca/tsq/15/zhukovsky15.shtml> (Accessed: 10th June 2020).
25. Dolgushin, D. (2015) Pridvornyy lokus i avtorefleksiya russkoy literatury k. XVIII – perv. pol. XIX v.: Mikhail Murav'ev, Vasilii Zhukovskiy, Petr Pletnev [The court locus and autoreflexion of Russian literature in the end of the 18th – first half of the 19th century: Mikhail Muravyov, Vasily Zhukovsky, Pyotr Pletnev]. *Toronto Slavic Quarterly*. 53. [Online] Available from: http://sites.utoronto.ca/tsq/53/tsq_53_dolgushin.pdf (Accessed: 10th June 2020).
26. Zimin, I.V. (2017) Territoriya detstva [The territory of childhood]. In: Kappol, O.S. (ed.) *A maximus ad minima. Malye formy v istoricheskom landshafte* [A Maximus Ad Minima. Small Forms in the Historical Landscape]. St. Petersburg: GMZ Petergof. pp. 203–205.
27. Tatishchev, S.S. (1903) *Imperator Aleksandr II. Ego zhizn' i tsarstvovanie* [Emperor Alexander II. His Life and Reign]. Vol. 1. St. Petersburg: A.S. Suvorin.
28. Khotenkov, V. (2000) “Drug otechestva” (Mikhail Nikitich Murav'ev) [“Friend of the Fatherland” (Mikhail Nikitich Muravyov)]. *Vyshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 4. pp. 142–149.
29. Koshelev, V.A. (1987) *Konstantin Batyushkov. Stranstviya i strasti* [Konstantin Batyushkov. Wanderings and passions]. Moscow: Sovremennik.
30. Pashkurov, A.N. (2018) Aksiologiya M.N. Murav'eva (k voprosu o dukhovno-nravstvennykh tsennostyakh v proze pisatelya) [M.N. Muravyov's axiology (on spiritual and moral values in the writer's prose)]. In: Kotlov, A.K. (ed.) *Dukhovno-nravstvennye osnovy russkoy literatury* [Spiritual and Moral Foundations of Russian Literature]. Kostroma: Kostroma State University. pp. 11–16.